

БЫВШИЙ "ГОРОДСКОЙ СУМАСШЕДШИЙ"

Кукуруза. - 1996. - 134 стр. - с. 16.

(Диалог в одной мизансцене)

РАКУРС

Действующие лица:
Писатель — Сергей Каледин
Журналистка — Елена Грандова

Действие происходит в ухоженной московской квартире недалеко от центра. Множество книг и фотографические портреты писателя на стенах дополняют картину. На кухне жена запекает рыбу в духовке. Герои не виделись несколько лет.

Журналистка: — А ты здорово изменился за эти годы. Гладкий такой стал, седой. Книжки одна за другой идут, фильмы, спектакли — и у нас, и там. А глаза грустные. Тогда они были безумные какие-то, лихорадочные. Помнишь, как ты пять лет ходил по издательствам и журналам со своими рукописями и ото всюду тебя гнали...

Писатель: — Не пять, а восемь. Я знал, что пишу, не графомания, мне это умные люди объяснили, Василь Быков, например. Я знал, что никакой антисоветчины и диссидухи там нет. Просто были непривычные темы, а никакая не диссида. Только потом я понял, что самая страшная диссида — это Толстой, Достоевский, Чехов. Потому что они писали о России — страшнее некуда. Вот уж кого нужно было брать по 58-й статье!

Журналистка: — Господи, как же ты был наивен! Ведь у нас всегда убирал тех, кто способен к самостоятельному мышлению. Неужели ты это не понимал?

Писатель: — Я был искренне уверен, что все это может быть напечатано. Разумеется, я заблуждался, был таким "городским сумасшедшим", который бился во все издательства и толстые журналы Союза. У меня есть папка в 5 см толщиной, где лежат чуть ли не двести отрицательных отзывов на "Смирненное кладбище", а я все не унимался.

Журналистка: — Но ты умудрился встретиться с самыми высокими чинами. Как?

Писатель: — Было дело. Но не с "Кладбищем", а со "Стройбатом". Самостоятельно ходил и к главному цензору Генштаба, и к начальнику Главлита, и к начальнику Главпура... Но кто из таких людей обязан говорить с каким-то писателем? Чтобы вызвать "начальника" на свидание, нужна была интрига. Я звонил, общался с холуями и добавлял: если сейчас не поговорю с главцензором, то перережу себе вены и оставлю записку — "в моей смерти прошу винить". Некоторые на это ловились. Меня в результате допустили пред светлые очи всех "больших". Я потом обо всем этом повесть написал — "Вшивая рота".

Журналистка: — Ты учился на заочном, работал на кладбище, в результате написал диплом — "Смирненное кладбище", которое...

Писатель: — Опубликовал Залыгин в "Новом мире". В том же журнале "Стройбат" был набран четыре раза, и набор рассыпался. Хотя уже перестройка шла третий год.

Журналистка: — Сережа, вот ты побывал и могильщиком, и стройбатовцем, и истопником в церкви, и шабашником. Самы темы экстремальные, они уже предполагают читательский интерес. Это повод, чтобы обвинить тебя в конъюнктуре. Как ты к таким обвинениям относишься?

Писатель: — А я, между прочим, и сам читатель. Если мне было бы интересно прочитать записки гробокопателя, то почему это будет неинтересно другим? А что касается критики, то я очень серьезно отношусь к объективной.

Журналистка: — И все-таки это мне очень напоминает рубрику в газетах, помнишь, была такая — "журналист меняет профессию". Но писатель — это не журналист...

Писатель: — А из чего тогда все это со-



Фото Г. РОВИНСКОГО

здавать? **Что** бы я знал о жизни, если бы там не побывал? Из пальца высасывать? Многие высасывают, но это ведь неинтересно.

Журналистка: — Наверное, горы писем тебе приходят? А сам ты как представляешь своего читателя?

Писатель: — Раньше приходили. Сейчас нашего брата письмами и отзывами не балуют. Ты ж в газете работаешь, много вам сейчас писем приходит? Наше дело — писать, читателя — читать.

Журналистка: — А разве тебе отклик не важен? Как ты его чувствуешь?

Писатель: — Вот как. Я знаю, что написал хорошую вещь "Поп и работник". Она была опубликована в затухании литературно-журнального бума, когда читатель уже выдохся, у него уже нет сил ни на чтение, ни денег на журналы. Как он будет откликаться? Но я-то знаю, что вещь хорошая.

Журналистка: — Ты показываешь свои рукописи коллегам?

Писатель: — Боже упаси! Матери, жене, свояченице, друзьям, среди которых писателей нет. Поначалу показывал Василью Быкову, Шкловскому. Но тогда я был святой, никем, графоманом (коклетничая). Теперь я чувствую себя писателем. Не коклетничая.

Журналистка: — Что бы ты ответил многим писателям, которые жалуются, что трудно напечататься, денег нет, жить нечем...

Писатель: — Ерунда! Во-первых, пиши хорошо — и тебя напечатают. Во-вторых, зарабатывай деньги, как все литераторы в мире, — преподаванием, статьями,

редактированием.

Журналистка: — Ты считаешь, что это нормально?

Писатель: — Абсолютно нормально. Писателей не может быть тысячи. Невыгодность писательского промысла отводит от письменного стола серятину. Останутся графоманы — большой народ, и писатели. Все. Так и должно быть.

Журналистка: — А кто определит — серятина ты, графоман или писатель?

Писатель: — Критериев нет. Только нюх. И рынок. Для меня рынок и искусство — вещи абсолютно совместные. Все должно быть выверено, прочитано до копейки. Как на Западе. Там, на богатом Западе, нет ни одного толстого профессионального литературного журнала. Они не могут себе этого позволить. А у нас полсотни...

Журналистка: — Так неужели это плохо? И потом, что ты все на Западе киваешь, мы в России.

Писатель: — Черт его знает, насчет журналов. Наша традиция такая. Но у меня, извини, вопрос: где взять настоящей литературы на такое количество журналов? Хотя я и привык много читать, мне, например, сейчас читать нечего.

Журналистка: — Сегодня существует так называемая "другая литература", очень часто основывающаяся на сюжетах о любви. Но я бы и любовь эту назвала "другая любовь". Вся эта ненормативная лексика, откровения выше крыши. Ты как к этому относишься?

Писатель: — В простом пьяном разговоре, дома я это дело обожаю. Но в литературе такое просто исключено! Если только это не смешная филигрань у Юза Алешковского. Но весь этот андеграунд, пропади он пропадом... Не могу, с души воротит. Жизнь, рассмотренная через призму влагилица, — это не литература. Это занимательная гинекология.

Журналистка: — Сережа, а почему у тебя нет вещи собственно о любви? Ты ж привык к экстремальным темам, а что может быть более экстремально, чем любовь?

Писатель: — Как подумаю, что уже написаны "Дама с собачкой", "Ася", "Вешние воды"... Страшновато. Но так хотелось бы к этому прийти.

Журналистка: — Раньше, не смейся только, вот этого целомудрия в тебе не было заметно. Все у тебя было — "ништяк". А с возрастом оробел перед чувствами?

Писатель: — Может быть. Но прежде всего — неумение. Знаю за собой отсутствие психологизма, настоящего, глубокого. Воображение и психологизм — не одно и то же. Опять-таки с эпитетами слабовато. Вообще у меня, то ли к сожалению, то ли к счастью, присутствует очень сильное самокритическое чувство.

Журналистка: — Ты говорил, что пишешь "с натуры", редко выдумываешь. На эту тему натуры нет?

Писатель: — Ну как тебе объяснить! В Бразилии я познакомился с красавицей

проституткой, с белозубой такой негритянской. Разговорились. Самое интересное, что языков-то мы оба не знаем! Я что-то руками показывал, рисовал. Она кивала, что-то рассказывала о своей жизни, как косички заплетает — у нее их сотня. Мне кажется, что вот за это короткое время мы поняли друг друга больше, больше друг о друге узнали, чем когда-либо еще. В этой девке было столько доброжелательности, ей так хотелось, чтобы я что-то о ней особое понял, а мне — чтобы она. Зацепил меня этот эпизод, что-то хочется из него вернуть.

Журналистка: — Ну так в чем же дело-то? Пиши!

Писатель: — Да не могу я! Знаю, что писать что-то серьезное о любви сейчас не получится. Кроме всего прочего, нет того настроения.

Журналистка: — А что для тебя настрой?

Писатель: — Безмятежное, безоблачное настроение.

Журналистка: — Мы с тобой выросли, как ты выражаешься, при коммунистическом строе. У тебя не бывает минут, когда бы ты жалел о том, как мы жили?

Писатель: — Конечно! Это было очень безнадежное время, и об этой безнадежности можно было не думать. Можно было спокойно работать, зная, что результаты твоей работы все равно никому не нужны, кроме тебя и твоих близких.

Журналистка: — Хорошенькое утешение для творческого человека, ничего себе "стимул" для работы! Я всегда считала, что артисту (в широком смысле слова) нужна публика. А тебе нет?

Писатель: — Не спорю: художнику нужна публика. Так же, как ему временно нужно перебарывать общественный строй, цензуру, жандармерию. Чтобы чувствовать себя ратоборцем, ниспровергателем, сильной личностью.

Журналистка: — Значит, для тебя наступили нелучшие времена. Спокойная жизнь, бороться ни с кем не нужно...

Писатель: (коммуня) — Ужасно! Спокойная жизнь... Только пиши — и все!

Журналистка: — Стало быть, ты согласен с Евтушенко, что "поэт в России больше, чем поэт"?

Писатель: — Был — да. Сейчас — нет, да этого и не нужно сейчас. В коммунальное время Евтушенко был прав. Тогда поэт мог говорить то, что не дозволялось другим.

Журналистка: — А сегодня любая газетная статья скажет (пока) то, о чем говорила "социально, политически значимая" литература. Было такое определение, и твои вещи так тоже характеризовали. Ты как к этому относишься?

Писатель: — Я считаю, что любое литературное произведение, если оно художественное, — социально значимое. Обязательное в нем будет некая философская, педагогическая идея, наставление. Но речь, повторю, идет о художественном произведении. А что, "Бесы" — это не социально значимое произведение? У меня хватает ума не сравнивать себя с кем-то, но если о моих вещах говорят, что они "социально значимы", я могу только радоваться.

Журналистка: — Скажи, с той поры, когда ты был "городским сумасшедшим", и до сего дня есть вещи, которые ты для себя открял? Что-то главное понял?

Писатель: — Да я и сегодня столько не понимаю... Это все красивые слова. Я так много в жизни сделал плохого (хотя и не хотел этого) из боязни сказать красиво. Ну, как сказать, что мне открылась истина? И какая истина? Чтоб родители жили подольше? Чтоб племянницы учились хорошо? Чтоб на даче костер развести, шашлыки жарить, вина попить... Слушай, там, наверное, рыба уже на кухне запеклась. Пойдем?